

Ирина Беньковская

«Запоминай движенья...»

Каракас, предчувствие войны

До пригорода в среднем полчаса
езды. Там солнце отлито из меди;
там зной, там многословны адреса,
там крутят сальсу пьяные соседи,

там западает клавиша, и смех
похож на крик однообразьем тона;
одна забота общая на всех –
не стать влюбленным прахом – пеплом – дона

Франсиско де Кеведо. Тетива
натянута, рука дрожит едва.

Играй, играй, перебирай лады,
до судороги, до недомоганья,
у кромки, в полушаге от беды
тасуй картинки, запахи, названья;

запоминай движенья: поворот,
наклон, другой – в хозяйстве все сгодится,
мотив, слова – ничто не пропадет.
Веселый глаз морского пехотинца

блуждает, щурясь, меж холмов и трав,
покуда цель себе не отыскав.

Боливар с ударением на «и»
склоняется над площадью. Садится
багровый диск. Чужие и свои
сливаются в пятно. Большая птица

летит над котловиной на восток,
и тень за ней скользит наискосок.

А там – сочится красная земля
горючей черной кровью. Тих и страшен
час ожидания. Тянутся поля
сплошной цепочкой Эйфелевых башен

ажурных, черных вышек нефтяных.
История, как водится, под дых

бьет точно и прицельно; аккурат
когда не ждешь. Загонщик спор и ловок.
Все тоньше нить; все пристальнее взгляд
нацеленных на Юг боеголовков.

Слез не сморгнуть, не отвернуть лица;
мы этот фильм досмотрим до конца.

Бата́*

G. V.

где выныривает собор из черепичной крутой волны
где без глотка отравы не дожить до полной луны
потерялось, пропало, сгнуло, в спешке выпало из горсти
невесомой неслышной никелевой монеткой кануло – не найти

* Бата – афрокубинские ритуальные барабаны в форме песочных часов, с двумя мембранами из козьей кожи.

это бешеный поезд несется на всех парах
нарастает зной, и стонет безжалостный жестяной
ксилофон; Бабалу, черный Лазарь в ветхих присохших бинтах,
не звени своим бубенцом, не ходи за мной,
не стучи железным посохом в стены – там глухо, как в танке, там
всем сестрам по серьгам раздали, по круглым лунам-серьгам
по браслету, колечку, денежке, по капле крови чумной

парки в белых одеждах, забросив пряжу, перебирают фасоль
на дощатом столе; барабанная нежить, глухая боль
осторожно нащупывает дорогу, крадучись между строк
примеряется, ищет себе гнездо, уголок, приют, закуток –
не на час, не на день – на долгий просторный срок

это я, восковая куколка
в меня воткнули иглу
петушиная сохнет кровь – не ходи за мной, Бабалу
растолкли мое горе в ступке, в горячем варят котле
ни следа, ни славы, ни имени, ни фасолинки на столе
только вертится злая песенка в беспамятной жаркой мгле:

«где ты, кто ты?

это батá

батá

топот ливня, шепот табачного скрученного листа

голос выдолбленного сердца, поющая пустота

перекатывается в гортани, вырывается изо рта

это рокот из темноты

это боль, это ты

это батá

батá»

С. З.

Полоска леса уползает вдаль,
к концу с опаской движется февраль,
скрипит суглинок под ногой; порою –
крик, краткий прочерк крыл наискосок.
Отвоевав у пустоши кусок,
оно лежит, квадратно-гнездовое

смирненное кладбище, Арлингтон
для нас, для штатских. Профили ворон
на желтом мерно движутся, кивая.
Кругом сорокалетних имена –
как будто бы чума или война,
осада, смута, язва моровая.

На почве датской или на какой
другой – не все ль равно – проигран бой,
и ветер ленту черную колышет.
Все кончено. Несет тебя лиса
за синие, за темные леса,
и кот нейдет – он ничего не слышит.

Печален мир с седьмого этажа.
И рама поддается, дребезжа,
и мир застыл в оконной этой раме –
там ночь, февраль; и рама дребезжит,
и голос в трубке рвется и дрожит,

и океан смыкается над нами.

Ифигения в Авлиде

девяносто с Алфейского брода; двенадцать из
Саламины (корма, крутые бока, резной раскрашенный нос)
тридцать – Казос, Кос; бесполезный парус провис
бросить взгляд напоследок украдкой на гавань вниз
мне сказали, кровь моя – ветер
потерпите, Самос и Кнос

голубиная Фисба, Крит
вот уже сырым
покрывалом стелется – не отстранить руками –
сладковатый дым; осознание того, что не светит в Крым:
все по-взрослому – листья тука, точильный камень

соль, ячменные зерна
старуха держит за холку пса
поджидает в сторонке, невидимая для зрячих
узкий промельк ножа
с каждой каплею паруса
наливаются жизнью – наглой, слепой, горячей

вот и хлынуло
грянул хор, налегли гребцы
никаких подмен – ни лани тебе, ни овцы

что же, скатертью вам дорога, семь футов вам и т. д.
прочь от жертвенного костра, налегке за новым
подвигом; чайкой по небу, щукою по воде
не догнать в пути, не спросить уже, каково вам

плыть под мокрым от крови парусом
меркнувший свет, озноб
комариный дрожащий звон – все затем, чтоб неслась к Илиону стая
остроклювых, черных, свирепых, насквозь просмоленных; чтоб
набухала в надсаженных глотках песня, исподволь нарастая

чтобы смерть растеклась паутиной трещин, ветвящихся на бегу
по пустой скорлупе, подобной глиняному сосуду
чтобы вам вползти деревянным чудищем в город на берегу
обреченный гибели, Шлиману, Голливуду

чтобы плавилась наконечники, земля плыла из-под ног
чтобы гадов морских насылали на твердь глубины
чтобы тлела на солнце плоть, чтобы ржавел песок
чтоб мушиная песнь равнодушно скреблась в висок
чтобы кто-то потом прочел ваш список до середины

* * *

Цветок в заветном саду сорвать на ходу, на бегу,
на берегу пруда, в котором весь мир двоится;
не расслабляйся, путник, не пей обманной водицы,
ужин отдай врагу.

Враг не бывает сыт. Отдай мне то, говорит,
чего в доме своем не знаешь, о чем душа не болит,
а как придет пора выкуп вести со двора –
попомнишь сад, и ограду, и пруд, затянутый ряской,
пока народ провожает невесту фольклорной пляской
и громким криком «ура».

Пальцы проклятый стебель жжет. Но идти до конца –
есть, по законам жанра, долг любого купца.
Ветер разносит пепел. Тихо; ворота настезь.
Дочка, встречай отца.

* * *

G. V.

вот такая вот канитель, моя радость, предупредил бы кто
говоришь, «Гардель»
говоришь, «двадцать лет – ничто»

не бледнеет, не оттирается, вот те раз
получается, век будешь помнить весь этот джаз

но до свадьбы до похорон дня рождения заживет
зарастет затянется зарубцуется за

(память с усмешкой сплевывает берет
за грудки: в глаза мне смотреть
в глаза)

Одесса

